

The background of the cover is a painting of a bicycle, rendered in a dark, moody style with heavy brushstrokes. The bicycle is positioned vertically, with its wheels and frame clearly visible. The colors are primarily dark blues, greens, and blacks, with some highlights in white and yellow. The overall texture is rough and expressive.

Елена Крюкова

Тибетское
Евангелие

р о м а н

Елена Крюкова
Тибетское Евангелие

«WebKniga»

2013

Крюкова Е. Н.

Тибетское Евангелие / Е. Н. Крюкова — «WebKniga», 2013

На рынке в южном городе мальчик по имени Исса встречает купцов. Купцы с караваном путешествуют по Азии. Они берут с собой в далекий путь отрока: мальчику хочется увидеть дальние страны. Два тысячелетия спустя в морозной таежной Сибири, в Иркутске, живет человек. Он уже стар, прошел афганскую войну. Врачи говорят ему, что он проживет недолго. И он решает совершить последнее паломничество к озеру детства — к нежно любимому Байкалу. Незадолго до ухода из дома старик побывал на органном концерте. Музыка, что играла молодая органистка, перевернула ему душу. Уже собравшись в дорогу, стоя перед зеркалом, он видит не старика Василия, а босого юношу в старинном плаще, с котомкой за плечами... Что произойдет с Иссой и Василием на их долгом пути? Какие невероятные события и приключения их ждут? Снежные вершины Гималаев, индийская Мать Зверей, битвы и предательства, тайные слезы и великая любовь... Какую цену платит человек за то, чтобы достигнуть Света? В основу романа Елены Крюковой положен известный апокриф о путешествии молодого Иисуса в Азию — в Индию, Гималаи и Тибет..

© Крюкова Е. Н., 2013

© WebKniga, 2013

Содержание

самое время!	5
АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ГЛАГОЛЕТ: СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ	6
ПУТЕШЕСТВИЕ ИССЫ. ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ	9
АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ГЛАГОЛЕТ: ПЕСНЯ ЦАРЕЙ	19
Конец ознакомительного фрагмента.	23

самое время!

Олегу Ермакову, с радостью и благодарностью

АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ГЛАГОЛЕТ: СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Мальчик стоял посреди рынка, и рынок гудел вокруг. Вспыхивал огнями апельсинов. Золотыми кувшинами дынь. Россыпями топазов-изюмов. Вился дымными усами благовоний. Пестрел дикими коврами. Вихрился солнечными цветными шелками, привезенными из звездной Индии, из страны Офир, из Тира и Сидона.

У мальчика пересохли губы: он хотел пить.

У него было с собой несколько монет, и он мог купить на них себе вкусного питья – хорошего сладкого синего дамасского вина, и разбавить его холодной водой, и так пить; или свежесжатого сока померанцев, или сока тыквы, смешанного с пахтой и крепким зеленым чаем, – кочевники зовут такой напиток «хурч», а еще они добавляют в него коровьего масла, – но мальчик хотел, перетерпя жажду, на невеликие деньги свои купить матери своей удовольствие: украшение, или моток шерсти для вязанья, или малую птичку.

Он стоял посреди рынка, и к нему подошел, жадно перебирая пальцами в воздухе, торговец птицами. Птицы сидели в клетках за спиной торговца; птицы сидели у него на плечах; птицы вцеплялись коготочками ему в волосы, и торговец смеялся от щекотки.

– Ах, чудо, чудо! – зазывно запел торговец, подойдя к мальчику. – Ах, великое чудо!

И, вторя завыванью торговца, разом запели все птицы: у него за лопатками, у него на плечах, у него на голове.

Мальчик поглядел на торговца. Он увидел его затылок. Он был выше птичника ростом.

– Ах, чудесный мальчик! – сладко завывал коротышка–птичник. – Купи, купи птичку! Птички драгоценные! Птички роскошные! Птички – загляденье! А поют! Заслушаешься! Царь Соломон, в блеске и славе своей, слыша моих птичек на золотом троне своем, засмеялся бы от радости и счастья!

Мальчик засунул руку в карман холщового серого плаща. День жаркий, а голова мальчика непокрыта: ни белого платка с черной перевязью, ни полосатой накидки, ни тюрбана. Птицы пели, заливались. Мальчик вытащил из кармана руку и разжал ладонь. Торговец по-птичьему изогнул шею и рассмотрел монеты. Два ассария. Всего-то?!

Нищего улещает. Тьфу. А одет чисто! Мать, должно быть, заботится. Или жена.

Молод для жены? И в тринадцать лет в пустыне женят. А мальцу на вид все пятнадцать.

– Дай мне белую птичку, – тихо попросил мальчик. – Вон ту.

И указал пальцем, какую.

Птичка сидела на темечке у торговца и пела громче всех.

– Белую, а-а-а! – запел торговец и широко развел руками, не сводя глаз с монет на ладони мальчика. – Два ассария! Всего два ассария! Как раз два! Угадал! Два всего лишь!

Мальчик протянул руку. Птичник схватил монеты с ладони острыми пальцами, как птичьим клювом.

– Бери! Бери смело! Не улетит! Ручная!

Мальчик робко поднял руки и осторожно снял с головы торговца маленькую белую птичку. Птичка испуганно чирикнула. Мальчик нежно посадил ее за пазуху, под плащ. Шептал ласково: не бойся, не бойся. Птичник изучающе проколол раз, другой иголками зрачков лицо мальчика. Загорелое, сожженное пустынным солнцем и песчаными ветрами лицо птичника, похожее на горелую корку пресного хлеба, смялось подобострастной, корявой улыбкой. Из растрескавшейся губы потекла на подбородок темная кровь.

– Еще эту возьми! Эту! Синюю! Цветом как сапфир царя Соломона, да счастливо ему живется там, за облаками, в виду Всемогущего!

– У меня больше нет денег, – сказал мальчик. Птичка высовывала белую головку из-под холщовой теплой складки.

– Нет денег?! Нет дене-е-е-ег! А-а-а-а! – запел торговец громче, выразительней. – А-а-а-а! Не поверю! Никогда не поверю! Никогда не поверю, что у такого богатого славного благородного юноши нет денег, а-а-а-а!

За спиной мальчика закачалась тень и заслонила его голову от жестокого солнца.

– Кто тут обижает кого?! Бьет?!

– Никто никого обижает и не бьет, господин! – Птичник согнул спину в поклоне, и птицы в клетках у него на загорбке громко заверещали. – Мальчик купил у меня птичку, господин!

Мальчик обернулся. Перед ним стоял рослый широкоплечий человек в розовом шелковом тюрбане. На лбом в тюрбан вставлен крупный, странный красный камень – мальчик таких никогда не видал ни на рынке в ювелирных рядах, ни в ушах и на шеях ночных продажных женщин из Храмового квартала. Гладкий камень, старательно обточенный, с неровными краями; будто вознеслась красная прозрачная морская волна на закате – и застыла.

Черные густые брови человека срослись над переносицей. Он говорил по-арамейски.

– Ты правда купил птицу?

– Правда.

Мальчик отогнул ворот плаща. Птичка вертела головой, косила черным зерном глаза.

– Как тебя зовут?

– Исса.

– Хочешь есть?

– Я не голоден, – улыбнулся мальчик.

– Хочешь поглядеть на красоту?

– Хочу.

Густобровый человек в розовом тюрбане протянул мальчику руку, и мальчик доверчиво взял ее. И так, рука в руке, они двинулись через весь рынок, и рынок гомонил вокруг них, идущих, и птичник пристально, жадно смотрел им вслед, и по лбу птичника из-под полосатой накидки катился мелкий соленый пот, и птицы, помолчав, снова запели в клетках, сплетенных из высохших прутьев иорданской ивы, у него за спиной.

Человек в розовом тюрбане подвел мальчика к прилавкам на самом краю обширного рынка. На грубо сколоченных столах и на земле, в пыли возле, лежали узорчатые ковры, длинные кривые ножи и короткие кинжалы в богато изукрашенных болотной яшмой, тусклыми глазами рубинов и мелким жемчужным пшеном, серебряных и стальных ножнах. В широкой и глубокой чаше навалены синие, цвета зимнего неба, камни величиной с перепелиное яйцо. Мальчик зачарованно смотрел на бирюзу. Перевел взгляд на искусно выточенную из черного обсидиана кошку. Глаза кошки горели зеленью. Два изумруда.

– Египетские копи, – горделиво сказал купец в розовом тюрбане и потрогал кончиком пальца кошачьи глаза. – Слава мастеру, что сделал. Гляди! Такого нигде не увидишь!

Мальчик погладил каменную кошку по холодной голове. Птичка за пазухой чвиркнула раз, другой.

– Вы это все продаете?

Улыбка кошачьим хвостом мазнула по губам купца.

– Все на свете продается и покупается, отрок! – Снисхождение звучало в голосе. – Ты разве об этом не знаешь?

– Не все, – тихо сказал мальчик, а ясные глаза смотрели прямо в лицо мужчине, смело, достойно.

Купец отвел взгляд. Розовый румянец взбежал ему на широкие смуглые скулы.

– Я поспорю с тобой!

– Ты не поспоришь со мной. – Голос мальчика был тих и весел. – Разве ты никогда не дарил подарки? Тем, кого любишь?

Краска стыда на щеках купца потемнела. Солнце поднималось выше, пекло нещаднее.

– Ты без накидки, – смущенно, ворчливо сказал купец. – На! Держи!

Сдернул с торгового стола серую накидку из верблюжьей шерсти – бишт, протянул мальчику. Мальчик, улыбаясь, принял; надел.

Из-за стола на них глядели три пары веселых глаз. Белки пылали синим светом, катались под бровями не хуже бирюзы. На грубых пальцах, и толстых и худых, горели под солнцем перстни. Крупные богатые камни сверкали с вызовом. Шелковые тюрбаны, под стать струистым атласным халатам, кричали о довольстве и веселии хозяев.

– Мы с друзьями давно торгуем и, как видишь, радуемся жизни! – Купец в розовом тюрбане широко повел в воздухе загорелой рукой, и на его безымянном пальце тоже сверкнул особо драгоценный перстень: камень, с куриное яйцо, странного серо-лилового, зловещего цвета, остро вспыхивал изнутри алыми пожарами огнями. – Мы знаем вкус жизни, цвет ее и радость! Мы знаем вкус и пользу денег! А также вкус земных наслаждений знаем мы! На заработанные торговлей деньги мы все можем купить! Все, что пожелаем! Лучших, красивейших женщин! Не только шлюх, но и изысканных гетайр! Лучшую еду! Лучших коней! А гляди, какие у нас верблюды! – Смуглый жесткий, деревянный палец гордо указал на громадных, длинношеих, опушенных вислой шелковистой, золотистой шерстью, и впрямь роскошных верблюдов, крепко привязанных перевитыми веревками к заостренному столбу; сбруя, расшитая мелкими перлами, искрилась на солнце. – Не бедствуем мы! Радуемся мы! Чего ж еще желать?

Мальчик погладил по головке и спинке птичку, совсем вылезшую из-за пазухи. Птичка медленно, цепляясь коготками, переместилась из-под плаща на плечо.

– Прав ты, – сказал мальчик, – желать больше нечего.

Улыбка жгла ему губы.

И купец в розовом тюрбане понял: в сердце прокралась тревога.

Тревожно стало ему от этой улыбки, горько, больно. С чего бы?

Хотел замахнуться. Прогнать насмешника, негодяя!

Еще и накидку ему пожаловал!

– А вы издалека привозите красоту? – вдруг спросил мальчик, блеснув глазами. – Путешествуете?

Купец видел, видел свет, что загорелся на дне широко расставленных юных глаз.

Свет любопытства. Жажда простора.

И купец, вместо пощечины злой, улыбнулся отроку в ответ.

И я, Ангел Господень, видел из-под купола чистых и жарких небес, как мальчик и купец обменялись немногими, но важными словами; обменялись записками на тонких и узких полосках пергамента из нежной козьей кожи, прибитых к кедровым дощечкам; как на прощанье улыбнулись друг другу, уже без насмешки и страха, и глубоко заглянул розовый от волнения купец в глаза непонятого отрока, широко, как у молодого бычка, расставленные подо лбом; и долго глядел ему, уходящему с птичкой за пазухой, вослед.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИССЫ. ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ

Очень маленький человек, а казался себе непомерно большим. Много горя пережил.

У него на одиноком медном крючке в коридоре висел странный такой тулуп овечий, самосшитый, не помнит уже, кто сшил ему: то ли мать покойная, то ли тетка покойная, а покойная жена звала одежку по старинке – зипун, так и он его стал называть: сверху серо-грязное плотное сукно, из такого шинели военным шили, снизу белая курчавая овчина к сукну пришита; за длинную жизнь протерся до дыр на локтях, моль побила толщ армейского сукна и мездру, но лишь кусок вывернутого внутрь, к теплу тела, старого овечьего меха спасал его в морозы.

Лютые морозы, стальные морозы.

Накрывался зипуном поверх одеяла. Ноги к подбородку поджимал. Дрожал. Согревался. И мерз опять.

Синие искры и стрелы мороза бежали по стеклу слепого окна, слагались в узоры и надгробные цветы. А он все не хотел умирать.

Он не хотел умирать, хоть смерть ему назначили безусловную и скорую. Никто не знает часа своего, это так, а он знал, ему – сказали.

Непомерно огромная жизнь прошла. Вся уместилась на ладони.

Ладонь твердая, кожа наждачная, мозоли у основания пальцев, ближе к ладони, будто от весел. Будто б он всю жизнь работал гребцом. Что он делал руками? Ну да, работал.

Работали руки на всяких работах, изломались в костях, устали. Он ушел от всех работ, уволился отовсюду. «Как ты будешь жить?» – спрашивали его чужие, хриплые голоса. «Никак», – пожимал плечами, смеялся. «Никак – это значит не жить?» – тоскливо уточняли голоса и сливались в один серый волчий, меховой шорох. Наоборот, усмехался, только сейчас жить и начну.

Собирал пустые бутылки на задах заснеженных дворов, по оврагам, по пустырям, около бензинных гаражей; пел над бутылками песню, когда домой приносил и раскутывал, как дитяток, бережно вынимая из рваного заплечного мешка, притворявшегося ранцем.

Ел скудно. Жалкие деньги вырывались из кулаков ветхими сухими листьями, серебряными голыми рыбками. Уплывали. Вот бы и мне уплыть, подумал однажды чисто, беззлобно. Куда уйти? Куда исчезнуть? О, исчезнуть от людей, вот счастье.

Ведь нужен Путь, и высчитать надо время, что пробудет в Пути.

И дойдет куда? Кто в объятья примет его? Кто простит?

У него в каморке висели две родовые, древние, избяные, лубяные, первобытные иконы. На одной горело темным, страшным золотом лицо Женщины, она крепко прижимала к груди Ребенка. А иной раз ему казалось – Старика. С другой пронзительно, беспощадно глядел Старик. Глядел сквозь его живую грудь. Сквозь стену. Сквозь ночную метель глядел, и зрочки его упирались в ледяную жесть крыш и в мертвые звезды. Если долго глядеть на Старика, он становился Ребенком.

И тогда он путал возрасты и времена.

И себя путал с кем-то другим, Иным, ему неподобным.

На столе торжественно и робко расставлял снедь: испеченную в печке, в жарко-синих и розовых углях, гнилую картошку, хрустальную старинную солонку с крупной серой солью, толсто нарезанный ржаной хлеб. Чай наливал в граненый стакан, стакан робко дрожал-колыхался в медном кривом подстаканнике – велик был подстаканник стакану, и велика была ему его жизнь: сшили кому-то чужому на вырост, а вот ему – по ошибке – досталась.

И только отщипывал от хлеба и клал черную пахучую, вкусную мякоть в рот, – в дверь звонили либо стучали, и он тихо, мелким шепотком, матерился.

Друзья приходили внезапно, крикливо и надоедливо. Все меньше их становилось. Он не знал, куда себя спрятать от них. Кипятил воду не в чайнике – у чайника носик отвалился давно, – в старой сожженной кастрюле; заваривал гостям чай прямо в чашках, и чашек год от года становилось все меньше. Расползались чашки, как тараканы. «Эх, Вася-Василек, – усмехались друзья, прихлебывая чай безо всякого там сахара или варенья, – эх, дружище, совсем обеднял ты! Жениться б тебе надо, а?» Он пожимал плечами: одно плечо торчало выше, другое ниже, такой сутулый был он, почти горбатый.

Один его дружок, наибольший надоеда, длинный как жердь-слега, он звал его Петрович, вот так однажды пил–пил пустой его зеленый чай – да и раскололся: вытянул из кармана книжечку без начала и конца, да ведь и без обложки, с обгорелыми страницами.

– В печке, что ли, сожгли! – беззлобно он воскликнул, помешивая ложечкой в граненом стакане невидимый, сказочный сахар.

А Петрович вооружился очками с разными стеклами: одно увеличивало глаз, другое уменьшало, и два глаза мерцали под заляпанными жирными стеклами, как куриное яйцо и перепелиное яичко, – развернул книжку, будто носовой платок, сейчас сморкнется! – и прочитал ему медленно, важно:

– «Когда он пересек Страну Пяти Рек и Раджпутану, поклонники бога Джайны просили его поселиться среди них. Но он покинул заблуждавшихся поклонников Джайны и отправился в Джаггернаут в землях Ориссы, где покоятся смертные останки Вясы-Кришны и где белые жрецы Брахмы оказали ему радушный прием. Они научили его читать и толковать Веды, исцелять молитвами, разъяснять народу Священные Писанья и изгонять злых духов из тел человек, возвращая им здоровье». А? Каково?

Он ничего не говорил, обдумывая услышанное. Ложечка звенела в стакане. На миг ему почудилось – в стакане стоит маленький человечек, похожий на него, только очень старый, совсем старик; белые волосы игрушечного старичка треплет невидимый ветер, и старик вцепился сухими крючьями пальцев в край стакана, как в закраину лодки.

– Это сказка? – спросил он, вынув ложку из стакана. Поднес ложечку к губам и осторожно, по-зверьи, снял с нее губами невидимую святую сладость, и проглотил, и улыбнулся.

– Нет, не сказка это! – обиженно сказал приятель и поправил на носу очки, и толстое стекло сверкнуло дальней зарницей. – Это правда! Это про путешествие какого-то, едрить его, Иссы по разным экзотическим странам, вот это что! Слушай, классная книга! Я прочитаю – и тебе дам! Обязательно!

– Дай, Петрович. Пожалуйста, – наклонил он голову и потер ладонью мохнатую щеку.

– А может, тебе бритву подарить? – Голос Петровича сверкал шуткой, голодом и весельем. – А у тебя пожрать-то чего есть, окромя хлебца и картохи?

– Однако есть.

Он сел на корточки и полез в старый шкаф. Дверца заскрипела, посуда загремела, чашки и тарелки, из которых уже никто и никогда не ел и не пил, обреченно свалились друг на друга внутри шкафной фанерной коробки.

– Ну и музыка! – прокричал Петрович сквозь посудный грохот. – Ты че там шарить, Василек? Да ну ее в задницу, еду эту! Это я просто так сболтнул, прости!

Он поймал в руки тарелки, как скользких, бьющихся живых рыб, втолкнул обратно – грудью, животом, – а живыми крючками дрожащих пальцев вынул из шкафа сверток. Разогнулся, шагнул к столу. На столешнице медленно, важно разворачивал промасленную желто-серую бумагу. Запахло солью и слезами.

– Блин, Васька, ты прям как бабу раздеваешь, – хохотнул дружок. – А чо у тебя ручонки трясутся-то так сильно? Пить надо меньше! Пить... надо... меньше... – кивнул на водочные, пивные бутылки в углу.

Пальцы разворачивали бумагу дальше, витки манускрипта вились и отваливались, наконец, свиток развернулся весь, и обнажилась, сверкнув коричнево-серебряной старушья чешуей, длинная, как сабля, рыбина.

– Сколько она у тебя тут лежала?.. ах, накормишь щас... блевать буду... червяки, поди, уж в ней... Ах, хар-роший омулек, рыбочка, ры-ы-ыбочка...

Он глядел на рыбу, как на старинный драгоценный меч, вынутый из ножен. И правда, видом она была чисто меч: узкая острая башка, плоское брюхо, стройный, клинком, ножевой хвост. Он взял ее в руки, как ребенка, и шумно, с наслаждением нюхнул.

– Ну чо, под рыбку-т надоть ить водочки?

Петрович подмигнул ему обоими глазами – куриным и перепелиным яйцом, и он захотел – сначала тихо и дробно, потом все сильнее и раскатистее. Он давно не смеялся.

– Есть у меня. Берёг, – тихо сказал.

Вытащил из-за печки, из-под кровати, бутылку. Она початая была. Зубами затычку сдернул. Крикнул Петровичу зло и весело: допивай чай, быстро! Петрович испуганно выхлебнул из чашки весь чай, чуть не поперхнулся. Он разлил водку – всю: Петровичу в чашку, себе в стакан. Прежде чем разрезать рыбину, еще повертел ее в руках, еще понюхал, будто бы помолвился ей. Потом взрезал омуля – грамотно, ловко, быстро, даром что рыбина от долго лежанья в шкафу затвердела, как доска.

Они выпили водку, всю сразу, до дна, и сначала нюхали рыбу и скрипло крякали, потом долго, радостно, как звери, грызли. Столетней давности омуль оказался вкусным и терпким, соль щипала язык, от водки велась вбок и вверх, танцевала и крутилась, загоралась огнем голова, горячела грудь, там, где сердце.

Когда взвеселевший Петрович собрался восвояси, он, пьяненький и добрый, на радостях оставил Василию, сунул в руки, как поленце, чтобы печь растопил, размахренную, обожженную книжицу: на вот, пес с ней, возьми, развлекись, ночи-то все равно долгие у тебя, а за свет ты платишь? «Не плачу», – мотнул он кудлатой сивой, тяжелой как гиря головой, а внутри ему отзвучало: «Не плачу».

В больничке, где он лежал, больные в палате не церемонились, сказали ему ясно и просто: да, батька, ты ж весь изранен напрочь, ну ты смотри на все философски, тебе ведь немного осталось, так что пей-гуляй в свое удовольствие! А врачи тебе уж ничем не помогут, ничем! «Ничего тебе, Василий-царь, не вырежут и ничего не вставят, – прокряхтел врач, сидя возле него на краю его койки на последнем, перед выпиской, обходе, – ну вот совсем ничегошеньки! Прострелен ведь насквозь, искорежен, живого места нет... Да тело б ладно... Башка у тебя... Я б тебе никогда не сказал, да жаль мне тебя, уйдешь отсюда без правды! Правда – ведь она лучше обманки?» Врач сделал такое движение ртом и рукой, будто курил. Наверное, хочет закурить, подумал он. Пошарил под матрацем, вытащил пачку папирос. Вот, курите, молча, вежливо сказали его рука и глаза. Врач замахал толстенькой мягкой лапкой, будто муху отгонял: «Что вы, что вы! Папиросы! Да я их... сто лет назад... Все уж сейчас сигареты!.. а вы...» Он повел кривым ртом вбок и упрятал пачку обратно под матрац. «А у меня на сигареты денег нет».

Пустой дом ожег его пустыми глазами окон. Стекла шкафов хохотали. Чашки скалились щербатыми фарфоровыми ртами. Он схватил со стола чашку и швырнул ее об стену. Звон отрезвил его, и он тихо, нежно, неслышно заплакал над собой, над приговором своим. Он оплакивал свою смерть, будто б она была живая и вот умерла, и вот лежит перед ним в гробу.

Всю ночь он пролежал, глядя в затянутый паутиной потолок. Совсем один, вот ведь штука!

А сколько в целом мире людей совсем одних?

Утром встал, оделся, надел свой старенький овчинный зипунчик, шапку натянул по самые брови – и вышел из дома, лишь бы идти, перебирать ногами. Деньги в кармане водились: звякала мелочь, шуршали бумажки – вчера он сдал найденную стеклотару. Он искал бутылки в оврагах и на задворках, как грибы. И они сами его находили. Поэтому он сегодня был богатый, очень богатый. И сам себе завидовал. И шел вперед. И слезились глаза. И дрожали в улыбке губы.

Родной холодный город на берегу ледяной зеленой реки, где он прожил всю жизнь, сыпал ему в глаза, в лицо куревом и фонарями, руганью и звоном трамваев, смехом и блеском наглых витрин, искусной резьбой деревянных наличников и дрожащими над головой проводами, облепленными искрами куржака. И ветки деревьев тоже были обвалены в сахарном куржаке; куржак свисал с ветвей старинным кержацким кружевом, плыл перед лицом царицыным лунным покрывалом, осыпался призраком мертвой свадьбы, мертвых крестин, мертвых похорон. И он шел по городу, не зная, не чувствуя, идет ли; а может, уже летит, а может, он уже умер!

«Я живой, я живой, – шептал он себе заледеневшими, жесткими губами, – я еще живой, нет, врешь, гадина, живой».

Перед глазами вымахнула и растаяла в метели яркая красная бабочка афиши. Он остановился, вернулся, чтобы рассмотреть. «ЛИДИЯ ЯНОВСКАЯ. ОРГАНЫЙ КОНЦЕРТ. ПРОГРАММА: ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ. ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА СОЛЬ-МАЖОР. ФАНТАЗИЯ И ФУГА СОЛЬ-МИНОР. ПАССАКАЛЬЯ ДО-МИНОР. ТОККАТА И ФУГА РЕ-МИНОР. НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ. БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ».

А-а, сказал он себе под нос, ага! Музыка! Музыка, концертники, играют всякие Лидочки...

У первого же прохожего спросил: не знаете, где тут у нас на органе играют? Прохожий сначала осклабился: на органе или на органе?! – но, поймав злой высверк его маленьких звеньев, из-под бровей, глаз, осекся: «Да напротив Крестовоздвиженской церкви старый польский костел, там органый концертный зал, вот туда и идите». И окинул его ледяным, поганым ушагом пошлого взгляда: интересно, чего это тебе, лахуренок замызганный, в органном-то зале филармонии понадобилось? Или, может, милостыньку покланчить желаешь? Так там и храм рядом, все путем.

Он вошел в костел и долго, мучительно отряхивал зипун, плечи, рукава, шапку от снега – разъярилась метель, а он до самого вечера все бродил по городу, изредка заходя погреться в кафе или в пельменные. Так до концерта и добрал. Гардеробщица с сомнением ощупала его, бедняка, и одяшку, барсучьими глазами; он молча, церемонно показал ей купленный в кассе билет. Денег на билет хватило, и еще осталось, завтра еще он купит еду, завтра не умрет. Вместе со всеми, с гомонящей живой публикой он, приговоренный и уже почти неживой, негнущимися ногами поднялся по маленькой лестнице и вошел, вплыл в темный, как озеро, зал, прозрачный, холодный, мрачный.

Люди плыли призрачно и медленно, как рыбы, в полумраке, расплывались по рядам, искали свои места, рассаживались, гомонили, пересмеивались, умолкали. Умолкала жизнь. Умолкало слово. «Сейчас будет музыка», – радостно и страшно подумал он, и иглы священного мороза мгновенно, больно искололи его горбатый позвоночник.

Сцена слепила желтыми плахами половиц, будто бы, как в избе, наскобленных ножом до золотого света, натертых вонючей мастикой до скользкости льда. На высоких каблуках пошла по желтому льду из-за кулис высокая тонкая женщина, нет, девчонка совсем, или издали девчонкой казалась. Он вскинул больные, набрякшие красным огнем веки – и зажмурился: серебряные органые трубы пронзили потолок, развернулись веером, и солнечные люстры щедро кинули снопы и связки лучей в гладкий металл, и трубы вспыхнули, звуча лишь светом, лишь тишиной.

Тишина. Она еще стояла, как синяя, мрачная вода в заливе. Под звездами. В виду острых, как топоры, грубых, как рыбацкие скулы, скал.

Тонкая девочка в блестящем синем платье, видимо, расшитом настоящими ночными звездами, дошла до органа, ловко села, рыбкой скользнула на скамью, и он увидел, как за ее спиной вырос такой же тонкий, как она, мальчик. «Зачем тут мальчишка?» – яростно спросил он себя; он уже не хотел, чтобы рядом с музыкантшей кто-то чужой и лишний мотался. Мальчик в черном строгом костюмчике быстро, один за другим, выдернул из органной панели штифты, быстро развернул на пульте ноты, длинные, как древний свиток, быстро поправил над головой у органистки узкое, как омуль, зеркальце. «Блин, как в машине зеркало, а куда ж она поедет-то?»

И музыка навалилась сразу, огромным рыбьим ли, нерпичьим брюхом.
И подмяла под себя. И он задохнулся.

Гремели снега. Выли метели. С ног его сбивал ветер, и он грозил ветру кулаком, и падал на колени, и валялся в снегу, катался, и катил его ветер по снегу, по насту, как пустой бочонок, – и он поднимался, и он шел, все-таки шел! Он шел между деревьев, между толстых рыжих стволов огромных кедров, над головой мотались бешеные ветки, хлестали иглами щеки, – и, отодвинув рукой в голице колючую черную марь, он увидел эту широкую синь. Это серебро. Эту волю и свет.

И шагнул из тьмы – на свет, на свободу.
Боже мой, Озеро! Вода! Мой дом! Вот ты какой.
Тебя зовут Байкал, я знаю. Я это знал давно.

Ты синий дом, ты ледяной оком. Ты изогнут лазуритовой ложкой, и я ем из тебя, ты питаешь меня. Ты пытаешь меня простором, ибо я маленький и конечный, а ты – необъятный и бесконечный. Ты искривлен саблей, и ты вздымаешься над шеей предателя и слабака. Ты любишь сильных, не маленьких; и я пришел к тебе, видишь, я долго шел и пришел.

Музыка ветра, греми! Звените, кедровые иглы! Бухайтесь оземь, о серебряный наст, шишки величиной с голову ребенка! Я свободен, я бросил все, я все разбил, предал и пропил, все продал и все прокутил, и я бегу к тебе! Гудят кедровые. Гудит вода под ветром. Как, Байкал, ты еще не застыл?! Ну да, все в снегу, на дворе декабрь, а лед обнимет тебя только в январе, когда уже индиговая, медная вода не выдержит звездных морозов. Байкал, вот я весь перед тобой, перед музыкой твоею; прими меня и прости меня, ибо я ведь к тебе, только к тебе и шел всю жизнь. Я занимался черт-те чем; я волюнил, зарабатывал, пропивал, кувыркался с бабами в теплых и утлых постелях, женился, расставался, хоронил, дрался, жрал, пил и спал. Я – жил. Я – жил?! Если это жизнь, тогда, Байкал, ты – что же?!

То, что я творил, это не жизнь. Это игра в жизнь.

Я перед тобой, бездонная музыка моя; перед тобою, бездна. Ты – бездна! В синей бездне твоей погребется, пропадет все наносное, все недужное, все роскошное и мишурное, ибо ты прост и прозрачен, и гигантским, длинным, как рыба твоя омуль, синим кривым зеркалом ты отражаешь небо. Байкал, ты – колыбель! Ты – выгиб нимба земной, земляной иконы, брови твоей – увалы и хребты, глаза – реки текучие, шея, коса и руки – отроги, лощины да золотая, чермная тайга, а уста – брусника кислая, терпкая, желанная. Цвета неба, цвета царского изумруда светящийся нимб, ореол! Выгиб крыла ангелицы; выгиб руки, а в руке я лежу, маленький, смертный, несчастный. Бай-Кель, Белая Вода! Дай глотнуть. Глотну – не умру. Как оглушительно гудят твои кедровые! Как поют твои птицы! Как ветер твой свистит в ушах! Дай мне жизнь, прошу тебя. Дай мне жить. Я ж не жил еще. Дай мне прибрести на берег, ближе к тебе, еще ближе. Встать на колени. Нагнуться, чтоб шея заныла. Губами к воде припасть. Вхлебнуть синюю ледяную влагу. Поцеловать тебя.

И тогда уж – бери меня, Владыко.

Женщина за органом, похожая на обряженную в церемонное дамское платье озорную школьницу, нажимала черные клавиши, раскачивала корпусом взад-вперед, помогая пальцам всем телом извлекать из инструмента вой и плач, стон и пожар. Музыка была так горяча, что воздух во тьме костела накалился, и ноздрям больно было вдыхать жар. Пламя смерти колыхалось рядом. Он смутно подумал: вот как можно умереть, в огне музыки, и хорошо будет это, – но мысль исчезла, утонула в накатившей ледяной, прозрачной волне.

Он ясно видел сквозь воду. На дне глубокой музыки он рассматривал круглые мощные камни. Россыпи гладкой синей, сердоликовой гальки. Вот рыбы проскользнули. Он затаил дыханье. Он видел рыбы спины. Рыбы шли медленно и тихо, боясь растревожить сонную синюю воду.

И скользнула – за огромными – малая рыбка одна. Он закрыл глаза: с закрытыми глазами он ее лучше видел. Золотая! Прозрачная вся... Скелет сквозь масло тельца видать... Будто слепленная из топленого масла или из прозрачного бурятского меда, плыла почти по дну Озера крошечная, как жизнь, рыбка, и он чуть не закричал: какая ты красивая! Лучше всех! Иди ко мне! Протянул руки. Руки наткнулись на спинку кресла. Слепые пальцы случайно цапнули чужую голую шею, чужое ожерелье. Возмущенное шипенье ожгло его: «Эй, там, вы что! С ума сошли! Дайте послушать!» Он смущенно опустил руки. Теперь уже широко открытыми, настезь распахнутыми глазами он ловил движенья органистки: вот она взмахнула руками, вот колено подняла, вот куда-то уперлась ногами, себя и все свое рыбье, гибкое тело из-за органа, со скамьи прочь выталкивая, – а орган в это время взвыл оглушительно, страшно, хоть уши затыкай.

Как она там, вблизи, выдерживает мощь этих звуков, подумал он растерянно, как же не оглохнет, бедная, – и взгляд поймал совсем уж стыдное, манящее: пола ее расшитого люреком платья откинулась вбок, и он увидел голую ногу музыкантши, обтянутую черным чулком, – как у проститутки белье черное, подивился, – нога поползла вбок, широко расставила женщина ноги, как бы нарочно для мужчины, раздвинула, и носок ее туфельки уперся, он рассмотрел это, в деревянную громадную, как топорище, клавишу у нее под ногами. И пальцы ее в это время впились в ночь клавиш, будто когти совы! У, колдунья. Он глядел уже жадно, во все глаза. Прикрыл рукой ширинку, как деревенский парень. У него очень давно не было женщины – с тех пор, как похоронил вторую жену, он с бабами не спал. Все, завязал, а тут-то что?!

Обнять. Исцеловать всю. Зацеловать и там, между раздвинутыми белыми омулевыми ногами. И пусть закричит, завоет от счастья, как эта музыка.

Он шумно выдохнул, и опять в соседнем кресле заворчали: Господи, что за публика сегодня, дышит ведь как паровоз!.. послушать не дает!.. – и тут случилось необъяснимое.

Его руки стали ее руками. Его ноги стали ее ногами. Его лицо стало ее лицом. Его пальцы стали ее пальцами – и вонзились, вклеились, не разорвать, в липкость и обжигающую лаву черных и белых, костяных клавиш. Клавиши скалились: белые зубы в черной пасти. Его грудь стала, о ужас, ее грудью: двумя выпуклостями, двумя пупырышками, да что там, почти школьница, а туда же, в бабий лифчик детские сиськи запикивает! И, что всего ужаснее было, там, где у него восстал, пожелав за много лет красивую женщину, твердый, истекающий соком уд, вдруг образовалась позорная полость, дикая и душная пустота, будто шар перекатывался внутри, внизу его живота, полый и яркий, ярче солнца, жаркий шар, и шар этот дрогнул, в такт музыке, раз, другой, а потом задрожал все мощнее, все чаще, дрожь музыки передалась наверх, по ксилофону ребер до серебряной трубы горла, до медных литавр безумных щек, до туго натянутого барабана черепа, и под жестяным, деревянным, кожаным куполом вспыхнул ослепительный свет, заставивший его – нет, ее! – еще сильнее, напряженной вытянуть вбок ногу, достать до самой крайней басовой педали, поймать огненный воздух ртом, и – да, и это ужасней всего

– закричать, в полный голос закричать от забытого счастья под готическими сводами старого костела, под потолком рушащейся жизни.

Она – или он? – нет, она уже, она, да! – стала чудовищной, космически круглой жемчужиной, и жемчужина эта катилась, чуть поблескивала и набухала в разымчивости багряных, малиново-сырых лепестков, в слоях красной, кровавой, живой и жидкой слизи, росла и круглилась и влажно сверкала, и язык огня лизал ее, и она чувствовала, что это не она в мире, а мир – внутри нее; она дышала, пульсировала, и дух реял не над зимней землей, а внутри нее; она теплела и алела, горела и светилась изнутри, и она была – всей ныне умирающей плотью всего на свете, что пожарищной жизнью еще билось, еще мерцало.

Она, женщина, была Байкалом; он, мужчина, Байкал, гремящий на земле и в небесах, теперь женщиной стал, о чудо! И как теперь звался он? Белая Вода? Синяя Тьма? Золотая Рыба?

Руки, слабые женские пальцы играли, ласкали весь суший под Солнцем и Луною мир, всех зимних птиц, все улицы и набережные, заметенные снегом, все утонувшие в метели села на берегу Байкала; и зеленый лед Ангары ласкали они, и белые столбы дыма – как твердые белые валенки – на морозе – из кирпичных труб; и повязанных шальями от мороза детей; и укрытых шубами – от мороза – чтобы не замерзли, идя в последний путь – в гробах – в открытых кузовах грузовиков – мертвых стариков; и орущих в роддомах рожениц, их истеричные, потные пальцы, рвущие простыню; и дворников, скребущих лопатами слежалую снежную соль; и омуля, светлую до слез серебряную рыбу в обледенелом ведре, что продавала старуха на городской площади, дырявой попоной накрыв, – а любопытным показывала, попону откинув: «Ох, и рыбочка вкусна!.. Ох, и рыбочка тут у меня!.. Купи, однако, не пожалеешь!.. Сам засолишь – пальчики оближешь... да что там... ум отъешь...»

Матка, в сердцевине которой зарождался мир, плотно, жадно приклеившись к ее прозрачной, горячей тонкой стенке, отделяющей жизнь от смерти, надулась, будто вздохнула, расширилась, вглотнула последний вздрог цветного Сиянья – и опала, выдохнула боль, замерла, застыла. Замерзла.

Органистка оторвала руки от клавиш. Мальчик в черном костюме аккуратно и бойко вдвинул обратно в органный короб штифты. Языки предвечного огня свернулись в клубок. Василий беспомощно озирался – или это она оглядывалась вокруг? «Что вы орете! – злобно крикнули ему из задних рядов. – Выкиньте вон этого идиота!»

Она стояла в круге света, совсем одна. И он стоял совсем один. Да, он стоял, он встал с кресла и стоял, как солдат на карауле, и его дергали за полу кургузого штопаного пиджака: да сядьте вы, что вы вскочили!.. – а потом все стали вставать и хлопать музыкантше стоя, беря с него пример.

И так весь зал встал вслед за ним и аплодировал стоя белокурой органистке, а она кланялась неумело, будто бычок, воздух лбом бодала, а у него лицо все было залито слезами, и он хлопал в ладоши, хлопал до боли, до судорог в мышцах, все хлопал и хлопал, и он видел, как несут ей на сцену букеты, и ловил шепот рядом: да, Бах!.. да, Себастьян!.. да, это ж надо так постичь Старика!.. да, молодец, Лидочка, да, талант!.. – и ладони у него пожаром зажглись, таежным, страшным пожаром, и он испугался себя, что вот сейчас перемахнет через кресла одним диким, волчьим прыжком, ринется к сцене, схватит ее, девочку свою, на руки, притиснет к себе что есть сил – и вон с ней, на улицу, под звезды, в мороз, с ней, полуголой, родной, чужой навсегда.

И он, расталкивая коленями чужие колени, пробрался через чужие смешки, подолы, брючины, животы, запястья, вылетел из гремящего, как погремушка, зала, и орган блеснул в него последним серебряным жадным огнем, ожег ему затылок, шею, и он, схватив зипунчик свой из рук надменной, как царица, гардеробщицы, сумасшедшим коlobком выкатился на железную от мороза улицу, под длинные иглы звезд, в зеленую, изумрудную, дикую ночь.

Не шел домой – катился клубком, мохнатым домовым, бабаем. «Да, я бабай, я волчок-серенький-бочок, я уже не я, а кто же?!» Еле попал ключом в замочную скважину. Отпрянул, войдя, от своей тени.

– Эх, Васька, – вслух сказал себе, и голос крепко ударился о замызганную печку, разрисованную сажей вдоль и поперек, – что ж теперь делать-то?

Голос повис в пустоте, замотался бельем на веревке. Лицо девочки-музыкантши синей луной плыло, качалось перед ним. За расписанным ледяными папоротниками и хвощами окном вспыхивал, гас и опять загорался одинокий фонарь. Он подошел к столу, придвинул с грохотом стул, сел; взгромоздил на стол локти, как две гири; стал думать – и с ужасом обнаружил, что мыслей не стало в голове.

Пустота. У него под черепом зияла пустота.

Странная и прекрасная. Это не была пустота страшной ночи и бесконечной тьмы. Она мерцала, возгоралась и опалесцировала тусклым, занебесным белесым, нежным светом, и ему хотелось ощупать этот свет губами, как давеча – исцеловать голые ноги искусной органистки. Пустота освобождала. Пустота звала. Пустота наполнялась его собственным дыханьем, просвечивалась им насквозь.

Он встал, потрясенный, и шагнул вперед.

Он шагнул в пропасть. В пустоту. Еле устоял на ногах.

– Ах ты, – бормотнул, – что ж ты будешь делать... что...

Ухватился руками за край стола. Стол под руками поплыл, как льдина. Он цеплялся за черный лед и молился: Господи, не покинь! Что со мной! Куда я! Куда...

А пустоту внезапно, грозно и плотно, туго и тесно стал наполнять живой мир, и он чуть не упал под натиском грозно катящейся жизни! Они все бились, вонзались, влетали и клекотали, врывались, разрывая его сосуды и обрывая себе перья из крыльев и шерсть с боков и из хвостов – все живые, все не желающие смерти: и быки, и коровы, и свиньи с кольцами в носу, и белки, и черные искристые соболя, и куницы, и горностаи, и медведи, что дико ревели, разевая красную смрадную пасть, и волки с капающей с клыков серебряной слюной, рвущейся нитями на горьком ветру, и голуби, и вороны, и собаки, и воробьи, и росомахи, и раскосые, как хитрые монголки, рыжие рыси, а вот и люди повалили, о, да как же много вас, куда вы претесь такой дикой толпой?! остановитесь, вы не поместитесь в моей пустоте все, я не вмещу вас, моя голова не для вас, моя грудь...

Он выставил прямо перед собой ладони, защищаясь от войска зверей и людей, – напрасно! Они вползали и вбегали в него, пробивали пустоту головами, разбивали кулаками и локтями, и все плотнее, все тесней и горше набивались ему под череп, и распирало изнутри бедные кости, и настал миг, и – крак! – лопнули костяные извилистые швы, треснула, как кедровый орех, голова, и свободно хлынули наружу, вон из тюрьмы пустоты, его народы, его зверье, его моря и земли, что так стосковались по нему, по нему одному, пока он был – человеком.

Разрушилась, рухнула невидимая перегородка в его мозгу, раньше разделявшая его и мир. И он в одночасье стал зверем; стал птицей; стал каждым из мертвых и живущих; стал богом; стал свободным. И губы разлепились. Голос вышел наружу – он тоже был свободен теперь.

– Спасибо, музыка, – сказал ему, глухому, его голос, – я свободен!

Глаза огляделись. Пора собираться. Ногти почесали старый грубый рубец, шрам поперек губы. Руки сняли штаны, натянули на ноги теплые подштанники и вязаные старые, без пяток, шерстяные носки. Вторая, покойная жена его, именем тоже Лида, как и нынешняя музыкантша, штопала ему носки, напяливая их на смешной деревянный грибок. Когда Лида умерла, он сжег грибок в печке.

Руки старательно, заботливо поддели под рубаху теплый собачий жилет, пошитый его первой женой, Раисой. С Раей он разошелся – у них родился мертвый ребенок, Рая очень плакала, выплакала себе все глаза и все лицо и стала страшная, как осенняя ночь, и с тоски изменила ему с его дружкой Петровичем. А потом ушла: и от Петровича, и от него. Он Петровича потом простил. Они распили на двоих три бутылки водки, сильно опьянели, переколотили в доме много посуды и целовались пьяными, мокрыми губами, склеивались солеными мокрыми лицами. Молочные братья. Муж и любовник.

Жилет он не выбросил со зла, сохранил, собачий мех спасал его зимой. Он думал – Райка живет, обитает где-то, а потом ему в трамвае случайно сказал незнакомый знакомец, что Райка умерла.

Ну вот, да, кажется, все. Всунуть ноги в подшитые свиной кожей валенки. На голову шапку нахлобучить, вроде как живого волчонка насадить. Вцепись когтями мне в лысину и в загривок, зверек! Вперед!

– Прощай, моя жизнь, – сказал он сам себе – или уже не он.

А кто это сказал?

Он боялся глянуть напоследок в старое, битое зеркало, висящее близ печки. Боялся: знал, кого там увидит. Сердце знало. Крепко билось.

И все же глянул. И все же изумился.

Зеркало будто внезапно удлинилось, вымахнуло ввысь и вниз.

И рассмотрел себя – всего, подробно, жадно, жарко, во весь рост.

Из зеркала на него глядел нежный высокий юноша, мальчик почти. Длинные шелковистые волосы до плеч, русая паутина. Морозный, инистый пушок над губой. Широко, как у нерпы, расставленные, почти под висками горящие, узкие длинные, два малька, вроде как бурятские глаза. Бородка чуть пробивается. Брови над переносьем золотой травой срослись. Станный плащ, наподобье холщовой хламиды, а может, раскроенный надвое грязный мешок из-под картошки, висел вдоль сильного, это чувалось под холстом, крепкого молодого тела. Текли, падали холщовые серые складки. На груди висел, на тонком ремешке, кисет из тончайшей телячьей кожи. А может, то была кожа нерожденного теленка. Убитого гадкими жестокими мясниками в утробе матери-коровы. И мастер сшил из него мешочек, а женская рука насыпала туда мелких нефритов и янтарей – на радость, на смертную память.

Еще на груди, на ремешке чуть потолще, висела маленькая нэцкэ из моржовой кости. А за плечами, на спине, мотался маленький узел дорожный. И он хорошо знал, что там, внутри, за поклажа: охотничий нож в кожаном самосшитом чехле, баночка с солью, жестяная коробочка с китайским чаем люйча, железная фляга с крепким напитком, который пьют лишь мертвые скифы одни в целом мире, и никто больше, – и еще, о да, еще там лежали вата и бинт, на случай внезапной раны, а еще – кусок вяленого мяса бастурмы, на случай внезапного голода, а еще – там лежала маленькая тонкая дудочка, о, должно быть, флейта, а может, она называлась авлос, а может, она называлась сякухати, – выточенная из кости древнего дикого зверя, с шестью крохотными отверстиями, похожими на ноздри или на черные зрачки: всегда глядят, всегда дышат, звучат – всегда.

И он знал, что умеет на ней играть.

Поправил ремень на плече. Эка, одежда-то легкая, легче пуха, в пути долгом задрогнешь, паря! Еще раз поглядел на себя, молодого, дико и странно одетого. Краем сознания прошло черное крыло прежней, мертвой мысли: если это не я, то кто же? И еще: доктор прав, опухоль выросла, перекрыла мне воздух мира, и я сошел с ума.

– Василий, – тихо, мрачно сказал сам себе и потрогал себя за нежную, пушистую юную бородку, – Васька, это ты, что ли? Или ты спишь?

И красивый насмешливый юноша из зеркальной озерной глубины медленно ответил ему, и он услышал, и его непослушные горячие губы повторили, как заклинанье:

– Меня зовут Исса, и я лучший из сынов человеческих.

– Мне все обрыдло! – заполошно крикнул он. – Ухожу! От всего ухожу! Сам от себя! Убегаю! Пусть свалюсь в дороге, на вокзале, под лавку... и чужие люди похоронят!..

– Ухожу в дальний путь, – весело, счастливо, громко сказал мальчик с губою в пушку в битом зеркале с облезлой, как чешуя, амальгамой, – ибо хочу увидеть мир большой и прекрасный, и иные страны, и людей иных, и исцелять их, если хворают они, и спорить о Божественном, и беседовать с царями, и ласкать и кормить нищих, и прощать преступников, и научить их любви.

АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ ГЛАГОЛЕТ: ПЕСНЯ ЦАРЕЙ

Гляжу на затылки людей. Они склонились над походным очагом. Людей немного. Считаю их, как коров, по головам: один, два, три, четыре человека. И пятый с ними – мой господин, Исса Пресветлый.

Волосы одного падают длинными лохмами в котел с едой, огонь в очаге подпаливает прядь, и в душном воздухе палатки из овечьих шкур пахнет горько, прогоркло, жженым козьим рогом. Другой, ростом повыше и в плечах пошире, в ярко-розовом, расшитом тусклым желтым жемчугом тюрбане, раскладывает на кожаном полу палатки войлок, овчины и грубые одежды, связанные иерусалимскими женщинами из шерсти белых тонкорунных баранов. Третий осторожно снимает с потной головы надоевший тюрбан, чешет виски и темечко отросшими за время долгого перехода ногтями, гладит смоляную, в крутых завитках, бороду, нежно ласкает бок длинногорлого кувшина. Кувшин лежит на коленях у него. Так гладят, томясь и глубоко, пьяно дыша, женскую ягодицу, женскую круглую грудь. А не мертвую глину. Вижу, он хочет выпить вина. Жадно дрожит. Он истомлен долгим путем.

Четвертый, уже свернувшись в клубок наподобье старого кота, подложив руки под щеку, спит на расстеленной кошме. Он сладко спит и раскатисто храпит. Блестит золотая серьга в его грязном смуглом ухе. Его шерстяной головной платок цвета ошипанной мертвой курицы валяется подле. Конец платка достает до огня. Тот, кто гладит кувшин, отодвигает платок ногой, чтобы не воспламенился.

Что делает пятый? Он стоит на коленях перед горящим очагом, сложил руки на груди. Молится усердно, погружен в молитву. Так ведро погружается в глубокий колодец. Я вижу сверху его нежный пробор и тускло блестящую, светлую медь волос; вижу сгорбленную в поклоне спину и одновременно – грудь, облеченную в холщовый плащ. Гибкая хорда позвоночника чуть выпирает из-под живых, льющих складок плаща. На его лице и руках дорожная пыль. Пальцы вздрагивают, губы шевелятся, веки набухают слезами – он молится.

И я, Ангел Господень Незримый, вижу и слышу его молитву.

Ибо это мой мальчик и мой Господь; и я послан хранить его и наблюдать за ним.

Он не видит меня, ибо я невидимо лечу над ним, стою над ним, как столб теплого воздуха; иной раз он меня чувствует и поднимает ко мне лицо, и я вижу с высоты, какая у него тонкая кожа лица: видно, как в мочках ушей ритмично бьется кровь, толкаемая сердцем, как переливаются двумя громадными розовыми опалами гладкие, безволосые щеки.

Смешной пух уже пробивается у него под подбородком. Это признак того, что завтра мальчик станет мужчиной.

Я же Ангел, реющий над питомцем моим веселой стрекозой в пустом и чистом, раскаленном небе, под сводами разбитых в степи и в горах шатров, я – не мужчина и не женщина; я та сущность, что может, для людей, стать и мужчиной и женщиной, как они того захотят, внезапно, в ночи, увидя пламенного меня и в страхе Господнем беседуя со мной.

Четверо путников – иерусалимские купцы; они идут на Восток, торговать и процветать благодаря удачному торгу, и отрок увязался вместе с ними; снаряжен маленький караван, всего семь верблюдов, это не так много, гораздо больше караваны на Востоке бывают: до ста верблюдов – ханский караван, двести верблюдов – караван Великого Могола Раджниша, раджи роскошного Кашмира.

Купцы взяли с собою мальчика, они пожалели его: мальчик прибежал к ним в слезах, жаловался: «Меня женить хотят, и чтобы хозяйством я занялся, и чтобы детей моих жена моя мне рождала! Я же хочу иного!» – «Что же ты хочешь?» – спросили его купцы. «Я хочу видеть священные звезды!» – дрожа голосом, ответил отрок. – Я хочу взойти на высокую святую гору, как на крышу храма, и оттуда трогать плащ Бога моего голой рукою и обращать прямо к Нему

речь мою!» А кто ты такой, чтобы обращать речь свою к Богу нашему, строго спросили купцы. «Я сын бедной Марьям и старого Иосифа, и я один знаю, что я сын Бога моего!» – дерзко выкрикнул юноша. Купцы склонили друг к другу головы в цветных тюрбанах и сбивчиво, ворчливо зашептались: а, этой Марьям?.. этой, что забеременела на стороне и понесла, а от позора спас ее святой старец... это ее первенец?.. да, дерзкий мальчишка... но как глаза горят у него!.. возьмем, братья, авось он поможет нам в пути, ведь он молодой и сильный, как молодой горный баран... будет мешки таскать с товаром, будет поить верблюдов на постоянных дворах...

Я слышал их шепот. Я видел, согласно наклонили головы свои они, и безусый мальчик радостно засмеялся: взяли! Взяли его в дальнюю, святую дорогу!

И видел я, что матери своей Марьям он не сказал ничего. Не прощаясь, он ушел из родного дома своего; собрал нужные в дороге вещи в маленькую котомку, гребенку не забыл, головку чеснока зачем-то, понюхав, в котому сунул; а еще на тонком вервии сохла под потолком засоленная намедни домовитой Марьям длинная, как сабля, рыба; и ее мальчик с веревочки сдернул, и, полюбовавшись ею, как охотничьим ножом, тоже бросил в дорожный узелок.

Красные отблески огня прыгают по лицам, рукам. Лижут алые, кровавые отсветы стены палатки, из козых и бараньих шкур сшитой. Трое нагнулись над горячей пищей, четвертый спит; пятый все молится. Трое терпеливо ждут, когда мальчик кончит молиться. Его молитва бесконечна. Молитвой Богу своему он сыт и пьян.

Не выдерживает купец в розовом, как морская заря, пышном тюрбане; помешивая ложкой варево, он тихо зовет: «Исса! Благородный Исса! Ужин готов!» Рыжие волосы мальчика флагом струятся на плечи. Грудь и живот слегка приподнимают холстину хитона – он часто, как в простуде, дышит. Прервали его молитву, и я вижу, как огорчен он. По склоненной шее катятся капли пота. Он вспотел, будто дрова рубил. Отирает пот с шеи твердой, крепкой маленькой рукой.

«О да! Господин, прости меня! Трапеза наша...»

Он глядит на кувшин с вином, что любовно обнимает чернородый купец. Улыбается. Подставляет руки, пригоршню. Черная Борода глядит непонятливо. Мальчик смеется:

«В руки мне вина плесни!»

Борода возмущенно трясет головою: еще чего выдумал, озорник!.. а только сейчас возносил Богу смиренную молитву!.. – но мальчик продолжает пристально смотреть, и глаза Черной Бороды прилипают к глазам мальчика. Угли в очаге переливаются кроваво, шуршат, резко вспыхивают. «А коли горячего ему сейчас в ладони из котла плесну!» – запальчиво кричит, сидя на корточках и обернув к Иссе и Бороде лохматую голову, тот, кто варит вечернюю похлебку.

Ложка брошена в котел. Черная Борода, неотрывно глядя в глаза мальчика и не глядя на кувшин, льет, льет красное сладкое вино в подставленные руки. Старик на кошме зычно храпит. Розовый Тюрбан резко встает, отдергивает полог палатки. За вонючими шкурами – белое вихренье. Белые жуки летят. Белая мука изобильно, страшно сыплется из дырявого сита небесного. Снег.

«Сне-е-е-ег!» – кричит мальчик и вскакивает на обе ноги, с вином в пригоршне. Вино капает ему на подол плаща, на сандалии, заливает шипящие угли. Слышен звон колокольчиков. «Караван идет!» – кричит Розовый Тюрбан, голову наружу высовывает. Исса медленно, стараясь не расплескать вино, идет к двери палатки, его нога, обвязанная тонкими ремнями старой сандалии, ступает в россыпь белых гусиных перьев.

Снег. И правда снег. Исса выходит из палатки под снег и ветер, и Розовый Тюрбан жадно, откинув холодной рукою шкуры, следит за ним, а Черная Борода цедит ругань сквозь зубы, а Длинные Космы греет руки над очагом, кладя их в пар, идущий от котла, как в мех адского серого зверя с двумя головами, живущего далеко на севере, в Гиперборее.

Исса – на ветру. Он – на просторе. Он видит: вдали горная цепь, за спиной – тучи, налетающие с близкого моря. Всего три верблюда, о нет, и четвертый поодаль; такой же маленький караван, как и их. Кто они? Ты знаешь, кто эти путники, о Исса. Ты ступаешь к ним ближе, шаг, еще шаг, еще шаг по свежему, мятному снегу, – о, донеси вино, не расплескай.

Красные капли падают на снег. Исса подходит к первому верблюду, животное уже встало на колени, чтобы хозяин мог свободно сойти на землю. Перед Иссой – старик, снег бороды летит над золотом, медью, изумрудной парчой царских одежд; и на могучем, как шелковый стог, тюрбане – малютка– корона, выкованная из чистого золота. Исса дышит хрипло, я слышу его дыханье. Я слышу дыханье старика-царя.

Откуда сей царский поезд? Куда бредут? Двое спутников важно сидят, не слезая с верблюдов, меж мохнатых, изукрашенных самоцветами горбов. Драгоценные камни вплетены в зверью шерсть. От толстых верблюжьих губ пахнет молоком, слюной, солью, ветром. Третий верблюд стоит вдали, словно бы боясь приблизиться к царской свите. Исса, сощурившись, видит: сидящий на нем черен лицом – эфиоп, а может, туарег, а может, нубиец.

Царь, укутанный в жесткую, как сталь, негнущуюся парчу, делает шаг к мальчику. И мальчик поднимает ладони с налитым в них вином – он донес его, донес! – и выливает, подняв высоко руки, на голову степного чужака-царя, на его корону, на тюрбан, и кровь течет по лбу, и кровь плачет, стекая по щекам, и кровь вспыхивает и горит на сусальном золоте парчи, и царь ловит ее в ладонь и окунает в кровь губы.

«Мальчик мой, – шепчет царь, и я слышу его шепот, – я увидел тебя! Какой ты стал большой и красивый! Мать хорошо кормила тебя. Ты ведь ничем не болеешь? Здоров ты?»

Руки Иссы в винной крови. Он вытирает себе красными ладонями лицо.

«Я здоров, хвала и слава Богу моему».

«Мы идем в пустыню, чтобы там, среди песков, под звездным небом, предать души наши в руки Бога нашего, Царя Царей».

«Хорошо. Идите. Я буду молиться за вас. Мы все будем молиться».

Царь чужой далекой земли приближает лицо свое к лицу Иссы и крепко целует его. И тут же начинают звенеть все до единого колокольцы, привязанные к шеям и хвостам верблюдов, и чернокожий принц, что поодаль сидит на темном как ночь верблюде своем, улыбается, и зубы его вспыхивают ярче белой молнии, озаряя ночь, и снег, и тучи, и двух царей земли – молодого и старого, целующего его.

И горная долина, усыпанная сумасшедшим снегом, слышит громкую песню – это путники поют Иссе хвалу:

«Славься, святой отрок Исса! Славься, поем радость тебе! Легко иди горящими стопами по ледяной земле! Руками горящими лед сердец отогревай! Славься во веки веков, Исса, сияющий Царь, Сын Человеческий! Ты Сын Божий, и колокола бьют тебе, и сестры и тимпаны звенят, и цимбалы, арфы и наблы музыку к звездам возносят! Радуйся, Исса великий, ты увидел тех, кто у колыбели твоей пел зимнюю песню тебе! И вот снова зима, и прощальную песню поем! Иди в далекий, великий путь! Путник ты, Исса, и вечно путешествие твое! Не остановишься никогда! Ноги по земле ступают, ноги по небу летят! Ангел с тобою в дороге, слава, слава, слава тебе!»

Я услышал, как цари далеких земель запели про меня, и по моей незримой спине побежал невидимый пот, крупные капли; и закапал тот соленый пот на землю, снег прожигая, и капли попали на лицо Иссы, на ладонь Золотого Царя и на ноздри верблюда. Верблюд повел ушами, яростно завертел хвостом, копнул ногою наметенный снег – и, оттопырив губу, плюнул в сторону палатки! И попал слюною в нос хитрого дозорного, Розового Тюрбана, что башку круглую, атласную, розовую как лотос, выставил в ночь, ветер и снег, чудеса наблюдая!

А они, все пятеро, пели: пел Исса во все горло, весело и залиvisto; пел Золотой Царь, дрожащим, надтреснутым, как старый кувшин, ветхим голосом; пели два чужедальних царя, восседающих на двугорбых смиренных верблюдах; пел, и голос доносился издали сквозь белохвостую метель, чернокожий принц, и я, Ангел Господень, один знал его имя: его звали Таор, принц Мангалурский, и родом он был из Южной Индии, из Джаггернаута, из земли Ориссы. Потому и кожа его черна была и гладка, как смоляное вариво для лютой казни, когда в горло бедняге льют расплавленную смолу; как у священного Бога Вясы-Кришны, кожа лица, рук и всего тела была у него, и на лбу у него сиял крупный, величиной с лягушку, изумруд, а под горлом, в яремной ямке, – огромный кровавый рубин, цвета свадебного сладкого вина.

И пели так они, слаженно, громко:

– Ангел в небесах, славься!
Крылатый дух бесплотный, славься!
Всякий человек одинок,
И если нет жены – Ангелу молись!

Ангел укроет овечьей попоной,
Ангел укроет чистым снегом.
Ангел укроет черной землей,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.